

Генка распутал веревку, завязал за вбитый кол, натянул, проверяя, и направился к лодке. Старая разбитая «обяшка» покачивалась у берега. На носу рыжей кучей веревок и поплавков громоздился невод. Гремя пустыми бортами, вставил весла и кормой вперед неторопливо погреб на струю. Невод широко пополз с носа, зашуршал-забренчал о край, груза с хлопанием и брызгами падали в воду. Утреннее солнце как раз выглянуло из-за горы и начало пригревать. Налипший на стланиях ледок мокро топился в лужицы.

Не спешил, легко опускал в прозрачную воду грубо тесанные листвяжные весла и время от времени обрачивался за спину, обметывая яму.

Весь август так же вот рыбачили они с сыном. Генке тогда как будто все равно было — много там рыбы, мало. Заводили, вытягивали на мелководе, Мишка заходил в невод, выбирал отчаянно бьющихся пузатых самок и бросал на берег отцу, а он, зажав дымящуюся сигарету углом рта, вспарывал мягкое, тонкое понизу серебряное брюхо. Живые еще, фиолетово-мясные ястыки* бросал в таз, рыбу в воду. Уже безвольную и едва шевелящуюся, ее уносило течением.

То было в августе возле поселка и ради денег. Сейчас Генка ловил далеко в тайге на своем охотничьем

* Ястык — икра в пленочном мешочке, размером в ладонь, как она есть в рыбе.

участке и не на икру, а рыбу на промысел. Ему важно было, что он там зацепил, и он нет-нет да и косил глаза на веревку, привязанную за нос. Она тяжело уже натянулась, вибрировала, дуга поплавков напряженно плясала по рябой зелени воды, охватывая все улово*. Генка сильнее налег на весла и потянул к берегу.

В сужающемся овале невода метались темные спины. Уйти можно было только через верхний урез, через поплавки, для этого надо было подняться и показать себя, но как раз этого рыбы боялись и продолжали тупо рваться сквозь прочную ячею. Перескакивали самые отчаянные, но таких находилось немного. Остальная разноперая ватага — серебряно-розовые гольцы, полосатая тяжелая кета, обитатели таежных ключей вольняшки-хариусы — перепуганной толпой упиралась в мотню и держала невод, помогая рыбаку маятником сваливаться к берегу и окружать самих себя.

Генка всегда удивлялся — развернулись бы вниз по течению, все бы и ушли, и ничего бы он не сделал. Даже вместе со всей его снастью легко ушли бы, вон их там сколько. Но они не смели нарушить не ими установленные законы, и Генка, чувствуя неподатливую тяжесть разбухшего невода, с усилием, упираясь раскоряченными ногами и всей спиной, приближался к берегу, уже цеплял веслами дно.

Хорошая была яма, он и базовое зимовье здесь поставил, потому что лучше рыбалки по всей Юхте не было. Лодка глухо зашуршала алюминием по гальке, рыбак выскочил и уцепился за веревку. Живой, мечущийся куль невода сам медленно затягивался

* Улово — место у берега с обратным течением.

в обратное течение улова. Генка, как бурлак, уперся от речки, косяк сдавался, сзади уже как следует забурлило и заплескалось. Он вытянул край на берег, захлестнул за крепко вбитый кол и, крикнув довольно, вытер мокрые красные руки о куртку. Сигареты достал.

Рыбы было много, она давила друг друга на мелководье, обреченные рты хватали воздух сквозь сеть, жабры хлюпали и пускали пузыри. Большой, кил на восемь, широкий самец кеты забился вдруг неистово и сам по мокрой гальке выскочил на берег. Генка присел на корточки, разглядывая сильные, тугие тела. Покуривал спокойно и благодарно, думал, как завтра еще раз заведет, и хватит. Хорошо попало — на весь сезон — и собакам, и на приваду.

Он очень любил эти первые дни перед началом охоты. Речка, лес — все было заново. Все чуть-чуть другое. Старого корефана, с кем год не виделся и кому рад, так рассматриваешь. Поседел, что ли, шрам новый, морщины на лбу, раньше вроде не было... Так и здесь. Берег обвалился в речку, тропу засыпал, вековую листовницу вывернуло поперек поляны, чуть не на избушку. А еще больше всяких мелочей. Все было поновленное, яркое.

И в этой вечной и незыблемой повторяемости — что все обязательно будет точно так же, как и в прошлом, и в позапрошлом году, но все надо будет узнавать заново, — Генка чувствовал большую радость, может, и сам смысл существования. Его над землей, над его речкой и тайгой возносило от ощущения свежести и нескончаемости жизни. И казалось ему в такие минуты, что так будет всегда. И он каждую осень по какой-то немыслимой дружбе с Господом Богом

будет заезжать на свою Юхту, и все будет заново прекрасно.

В этом году второго октября заехал. Чуть холодом и снегом пахнуло, он рванул. Сезон ничего доброго не обещал — кедровые стланики были усыпаны крупной шишкой, и мыша наплодилось полно — еще летом ясно было, что в ловушки соболь не пойдет. Генка рассчитывал на собак. Пока брюхом по снегу не начнут чертить, до середины, а то и до конца ноября можно было набрать кое-что.

С годами, а было ему сорок три, Генка все больше любил эту одинокую таежную жизнь. Удивлялся — многое ведь с возрастом становилось неинтересным и спокойно удалялось, уходило из жизни, эта же тяга только крепла. В лесу ему всегда хорошо было. Лучше, чем где-нибудь и с кем-нибудь.

Он засучил рукава, поднял отвороты сапог и, раздвигая скользкие упругие тела, зашел в невод. Рыба заволновалась, живой жизнью заплескалась по ногам. Темно-зеленый в красно-розовых пятнах брачный голец, лежащий сверху, поперек другой рыбы, растопырил белые перья плавников на оранжевом брюхе, глотнул судорожно воздух и вдруг зашлепал-замолотил отчаянно хвостом, обдавая охотника с головы до ног. Генка приподнимал верхний край снасти, кошелкой закрывавший рыбу, брался за хвосты и выбрасывал на берег отнерестившуюся лошальную кету в одну сторону — собакам и на приманку, гольцов и хариусов в другую — у него две загородки из бревен были приготовлены.

Самцы кеты — широкие, горбатые, с толстыми хрящеватыми клювами, маленькими немигающими глазками и почти собачьими клыками — только изгибались

тяжело. Сил биться у них уже не было. Самки — узкие, без горбов, но такие же, в зеленых, желтых и черных поперечинах и пятнах — были крепче, прыгали, пачкаясь серым песком. Из некоторых еще выползали последние красные горошины. Совсем уж лошалого аргыза* было немного.

В середине августа, почти два месяца назад, вошли они из моря в лиман Рыбной, хорошо зная, что это их речка, и двинулись наверх, к тем ручьям и тихим лесным протокам, где родились.

Самки не отличались от самцов. Строгими серебряными лососями были и те и другие. Стадо могло заходить две недели, три, а иногда и месяц. Оно разбивалось на маленькие партии по пять-семь особей и уходило вверх. В пресной воде самцы превращались в высоких, горбатых, страшных и тяжелых бойцов, самки круглились животами. Рыбы не кормились, и их желудки сжимались послушно, как ненужные для дальнейшей жизни.

Так они и шли. Днем и ночью. Отдыхали, отстаивались в тихих прозрачных уловах перед перекатами. Из Рыбной заходили в порожистую, мелководную Юхту и пробивались — на перекатах прямо на брюхе, целиком торча из воды, — до родных ям, к своим нерестилищам. Ночью на меляках дежурили медведи и волки, днем кормились осторожные мамы с медвежатами, огромные белоплечие орланы, ловкие плосколицые эвены с хитрыми крючками, а по ямам затягивали невода браконьерские бригады.

* Аргыз, или лох, — метавший икру и подошедший (или почти подошедший) морской лосось.

Но лососи, одетые в брачные наряды, упрямо добивались своего и, кому везло, приходили туда, где им было указано природой. И тут, в конце своего пути, они уже были парами.

Медовый месяц проводили на приглубом и прозрачном Генкином плесе. Плавали бок о бок, играли. Отмывали от ила, разгребали носами галечное дно. В какой-то одной ей известный момент самка замирала над гнездом, мелко дрожала перьями плавников и откладывала. Совсем как у людей, судорога бежала ее телом, от головы до нелепо изгибающегося хвоста. Самец кидался и тоже замирал, и покрывал невидимые в воде икринки белым облаком молók.

Теперь, к началу октября, все было кончено. Бóльшая часть стада отметалась и подохла. Одни тухлым, расползающимся аргызом улеглись на дно рядом со своими будущими детьми, других течением снесло ниже. Все они еще заживо начали разлагаться, слепли, покрывались серой и желтой слизью. Самое безжалостное превращение — из полной силы и вышших устремлений прекраснотелой серебрянки в лишастое, осклизлое и слепое нечто — завершилось. Но не завершилось еще дело природы. Их пузастеньким и прозрачным малечкам, которые рождаются только весной, нечего было бы есть, если бы родители не легли умирать рядом с гнездами и на них не образовался этот так скверно выглядящий планктон.

Они жертвовали собой ради детей, которых им никогда, ни при каких обстоятельствах не суждено было увидеть.

Генка наблюдал все это каждый год, и, может быть, поэтому его удивляло не то, что удивляет всех, — как лосось находит свою речку или почему они гибнут, но все

это дело в целом. Невероятно надежное. Неукоснительно происходящее из осени в осень, из тысячелетия в тысячелетие. Из этого огромного живого механизма достаточно было вынуть маленький кусочек... за тысячи-то лет... один раз... и все бы кончилось. Но никто, слава Богу, не вынимал, а само оно не вынималось.

Генка подтянул на берег опустевший невод, в нем остались одни гольцы. Эти тоже были лососями и тоже в брачном наряде, но, отметаив икру, не гибли, а, перезимовав по речным ямам, весной спускались к морю подкормиться селедочной икрой и скатывающимися мальками океанских лососей.

Гольцы не погибали, и, видно, поэтому сила жизни в них была не та — их никогда не бывало так много, как морских лососей. Гольцы были осторожны и трусливы. Они боялись даже там, где это не имело смысла: какая-нибудь некрупная самочка кеты, защищая гнездо, без раздумий бросалась на жадную стаю гольцов, и те разлетались в стороны. Это были две разные философии жизни. Одни жили и спасались по мелочи, другие жертвовали собой, и это делало их сильными.

Все эти дни, пока он с работой поднимался вверх по речке от зимовья к зимовью, солнце стояло во все голубое небо. Лиственницы облетали над плесами. Желтые буроватые хвоинки легкими волчками вертелись в звенящем воздухе, и вдруг застывали на прозрачной глади, и текли медленно вместе с небом. Их золотистые ленточки мягко обрисовывали берега. Самая приятная стояла погода — минус небольшой, по ночам до десяти опускалось. Лед на лужах не таял. По утрам песчаные берега стояли коловые — шлось как по

асфальту. Река парила — камни, коряги, торчащие из воды, были украшены белым куржачком.

Генка ждал снега. Подвалил бы малость, землю закрыл, и он начал бы охоту. Он, правда, и так мог начать, собакам важнее был запах, но вслепую, без веселой, азартной картины следов на снегу — некрасиво было. И Генка, понимая, что вот-вот посыплет, пока работал по зимовьям, держался от охоты и собак держал на привязи. Первый соболь, добытый до снега, был у него плохой приметой — весь сезон потом погода доставала, неделями из зимовья не вылезал.

Для Генки первый добытый зверек вообще был что для цыганки карты — всю охоту по нему загадывал. В первый выход случится, во второй или как? Лучше всего, если в первый-второй, в третий — тоже ничего, дальше хуже — не фартово выходило. Если же еще до охоты, по дороге приходилось стрельнуть, сезон случался суетливым. Примет было много — самка или кот, молодой или старый? На дерево выставят или придется из камней выкуривать?

На самом деле он не помнил толком, что значат эти его самодельные приметы, просто охота была делом важным и начинать ее суетливо или жадно было неправильно.

Он раскладывал подмерззат затишшую рыбу, жалел, что нет снега, но и радовался этой солнечной осенней благодати: остывающему небу, притихшей тайге, прозрачному плесу, поверхность которого угадывалась по медленно смещающимся скукоженным березовым листочкам. Все это вот-вот должно было скрыться под белым. Генка не знал, что больше любит — тайгу золотую или добытых соболей? Он бросил рыбу, замер,

глядя на другой берег. Соболей он любил не добытых, но удирающих от собаки.

Выпотрошил пару гольцов. Насадил их жабрами на пальцы и направился по тропинке в зимовье. Из кустов вылетела Айка, кинулась к нему, запрокинув голову и виляя не только хвостом, но и задом и даже животом. Не приближалась. На шее болтался кусок перегрызенной веревки.

Айка была первогодка, дочь Чингиза, который подвывал и взбrehивал сейчас от обиды, привязанный у зимовья. Генка не знал, как она будет в работе. С одной стороны, сучонка как будто трусовата, выстрела побаивается, с другой — умишко у девушки что надо. Чингиз за свою долгую кобелиную жизнь не научился перегрызать, а эта все быстро соображала. Надо будет объяснить ей этой веревкой, нахмурился Генка.

— Ты что, курва?! — сказал строго, но почему-то доволен был даже и этим ее проступком.

Сучка тут же смекнула, что прощена, и, цапнув за спину большого гольца, побежала с ним в кусты. Голец забился, Айка бросила, отскочила и тут же несколько раз яро грызнула рыбину за головой, переламывая хребет...

— Айка, курва! — рявкнул Геннадий уже действительно сердито.

Айка шарахнулась в сторону, бросила рыбу, развернулась, переступила пару мягких шажков, хвостом вильнула — рожа у нее была серьезная, она как будто соображала, что делать, — и вдруг кинулась к только что украденной рыбе, схватила ее и с деловым видом поперла к Генке.

— Ну что ты за сучка такая! — Он качал головой и не мог не улыбаться. — Давай! — взял у Айки рыбу. Мишка научил подавать, подумал.

К зимовью поднялся, порезал тугих, сочащихся живой потемневшей кровью гольцов, луковицу положил в котел и повесил на костер. Сам думал, чем заняться после обеда. Антенну от рации надо было заново перетянуть, лабаз починить, выше по Юхте еще пять избушек, где ничего не готово — окна и постели под крышей, дрова, что весной пилил, не везде стасканы к зимовьям.

Уха кипела и выплескивалась, он вытащил из костра несколько головешек, убавляя огонь, подумал, что рыбы в этом году ни домой, ни собакам не успел заготовить. Ничего, Верка наладит Мишку на рыбалку.

В поселке у него был большой дом, огород с картошкой и теплицей. И жена. Он никогда и не думал, чтобы беспокоиться. Верка была кремень, он, пьяный, даже побаивался ее. В сорок два Лешку — четвертого — родила. Ольге уже семнадцать, Мишке на год меньше, и Любе восемь, могла бы и уняться, но и бровью не дрогнула. «Ты в лесу все время, Ольга в городе, Мишку домой не загонишь — пусть будет». Сказала строго и отвернулась. Генка не против был — хочет, так пусть. И вот годовалый Лешка бегал теперь общим любимчиком.

Дома было все в порядке. Все работали. В августе с Мишкой икру пороли. Почти тонна получилась. Вспомнил и нахмурился. Раньше он этим не занимался в таких размерах, но тут менты сами предложили. Рыба, как никогда, дуром перла, вот и... рук, видно, не хватало. А может, Васька Семихватский просто по-соседски зашел... Генка согласился, и в конце концов неплохо вышло — свежий, пяти-шестилетний «крузак» можно было из Владика пригнать. Но деньги деньгами, а дрянной осадок остался. Генка до мозга костей был

охотник и вырос на том, что в тайге ничего не должно пропадать даром, а тут своими руками столько загубил. Больше двух тысяч самок — Мишка высчитал. Не то чтобы он никогда раньше икру не порол, бывало, конечно, но не столько. Да и непонятно — менты, которые должны были охранять рыбу от него, сами его на эту рыбу поставили.

Что-то неправильно менялось в жизни. Кто-то же должен следить, думал Генка, нам только дай...

Он не любил вспоминать это дело. На соболе, по-нормальному, столько же можно было взять. И это были совсем другие деньги. Но теперь и они почему-то казались Генке бесчестными. Он инстинктивно опасался, что все эти перемены новых времен доведут до того, что и здесь, на его охотничьем участке, объявится кто-то, кто начнет заводить новые порядки и все испоганит.

Костер прогорел, уха уже не кипела, оседала прозрачно. Под красноватым жирком томились разварившиеся рыжемясые куски. Генка сыпнул сухого укропа и снял с углей. Сигаретку задумчиво подкурил, привычно сидя на корточках. Неприятно было из-за той попусту загубленной рыбы — всякая дрянь лезла в голову. Если бы по лицензиям ловили, вся шла бы в дело. Даже жрать расхотелось.

Айка, дремавшая на солнце, поднялась и заворчала в лес. «У-у-в», — взбrehнула глуховато, не раскрывая пасти. Чингиз молчал, настроив острые уши. Генка прищурился на склон сквозь облетающие лиственницы. Осторожная таежная тишина, только запоздалый негромкий комар звенел у уха. Люди тут редко бывали, медведь должен уже залечь, хотя какие-то болтаются еще... Можно было бы лохматого, подумал, собакам в приварок.

Участок у Генки, как и у всякого штатного охотника в их районе, был большой — больше восьмидесяти тысяч гектаров. В других местах, где соболь не очаговый, и по двадцать тысяч хватало, но у них зверек держался по ключам и речкам. По верхам, гольцам да сыпунам его не было.

Весь правый борт Юхты на пятьдесят километров принадлежал Генке. Соседняя долина Эльгына была кобьяковской, а верховьями Генка граничил с Сашкой Лепехиным. Два зимовья у них с Сашкой были общие — на истоке Юхты и на Светленьком. Сашка, правда, пьяный, разбился насмерть на машине три зимы назад, и в прошлом году на его участок заезжал москвич Жебровский. На вертолете залетал, и обратно вертушкой выдергивали, кучеряво, видно, по деньгам вышло.

Странный был этот Жебровский. Не бедный, весь мир объездил, а зачем-то взял участок. В этом году опять приехал, домик купил в порту и собирался на промысел. Генка пытался думать, что Жебровский так же, как и он сам, любит тайгу и охоту. И даже это вот промысловое одиночество. Трудно было такое представить: Жебровский вроде и простой в общении, без понтов, промыслу учился внимательно и своим делился — Генка кое-какие мелочи у него перенял, — а все же был другим. Слишком городским, что ли? С Трофимычем, например, намного проще было.

У Генки на участке одиннадцать зимовий стояли, и почти все по Юхте, на впадении в нее ключей и притоков. Между избушками километров по двенадцать-пятнадцать «буранные» путики* поделаны, но

* Путик — тропа, вдоль которой у охотника установлены капканы или ловушки.

начинал Генка пешком. И снегоход берег по малоснежью, и больше любил тихую охоту с собачками. Так, не торопясь, с работой поднимался он от зимовья к зимовью, открывал капканы, готовил рыбу на зиму, стрелял глухарей, рябчиков и куропаток на приманку, приводил избушки в порядок.

В семь утра вышел, темно еще было. Собак взял, карабин и по холодку — руки и уши мерзли — двинул знакомым путиком над рекой. Шлось легко — за плечами котелок, банка тушенки, чай, сахар, запасные штаны и свитер да пяток капканов на всякий случай. Топор в петле на поясе. Генка, довольный, что рано вышел и впереди длинный день, посматривал в сторону речки, в темноте ее не видно было, только глуховато доносился шум осторожной осенней воды. Тропа, обходя прижим, забирала и забирала вверх.

Он переходил из базового зимовья в избушку на Секче. Шестнадцать километров было до места. Путик сначала тянулся берегом Юхты, километров через десять делал петлю вверх по ключу Нимат. Генка рассчитывал подняться в самые верховья ключа, посмотреть там зверя, а если ничего не будет, без тропы уже перевалить небольшой отрог и спускаться в избушку по соседней долинке. Часам к трем-четырем рассчитывал быть в зимовье.

Приличный мороз, думал Генка, время от времени потирая зябнувший нос. Удивительная штука — зимой в минус сорок так не дерет, как сейчас. Путик выбрался на старинную якутскую тропу.

По Юхте, частично по его участку, раньше шла дорога в Якутию. Веками по ней кочевали эвены с оленями, потом неумные казаки проложили свой путь,

ища выход к океану. Много чего тут перетаскали. На восток шли — сплавляясь по Рыбной и Эльгыну, обратно в Якутию поднимались через Юдомское нагорье этим сухим путем по Юхте. Экспедиция Беринга, отыскивая границы Евразии, заносила с материка на океан всю оснастку для кораблей. Веревки, якоря, пушки. По Эльгыну дорога была короче, но с двумя высокими перевалами.

Генка ревниво относился к этой тропе. Ему не нравилось, что по участку когда-то толпы бродили... Иногда даже казалось, что вот сейчас из-за поворота вывернется караван в двести-триста вьючных лошадей. И все это у него на участке. Или вообще настанут какие-то времена, и тут снова будут ходить и ездить кому не лень.

Последние, кто пользовались тропой, были пастухи, гонявшие летом оленей на якутскую сторону. Это было лет пятнадцать-двадцать назад, когда живы были колхозные оленеводческие бригады. С тех пор позаросло местами.

Тропа, петляя, спускалась к Юхте, на повороте был затесан столб с остатками зеленых цифр. Генка не раз уже рассматривал такие столбы, пытался представить, кто и в какие далекие времена спиливал живое дерево выше человеческого роста, чтобы и зимой видно было. И что это за краска, что до сих пор цела? Столбы обозначали почтовый тракт и стояли километров через десять. Еще довольно большие срубы, обрушенные уже и заросшие мхом, остались на месте таежных станков. На его участке их было три, горы старинных бутылок рядом валялись, из-под спирта, видно.

Работы по тропе было немало, и это Генку очень удивляло. Ему казалось, что если сейчас народ такой несознательный и шагу лишнего не ступит ради общего

дела, то двести пятьдесят лет назад человек и вообще должен был быть кое-какой. Генка остановился, прикидывая, как непросто было коваными топорами пробивать такой путь. Если человек десять, то не меньше недели должны были ворочать этот вот спуск к реке. Глаза натыкались на вековые лиственницы, помнящие те времена, — нарты или сани, сползая на склонах, бились боком о дерево, из года в год оставляя следы.

И Генка, мечтавший иногда побывать недельку другую в тех условиях, когда и соболя, и золота было голыми руками бери, задумывался настороженно. Припрягут дорогу делать или тащить чего-нибудь через перевалы... Но потом все равно соглашался — на недельку интересно было бы. Как тогда люди жили? Потерпел бы.

Дорога переходила по перекату на другой берег к Трофимычу. Два года дед не охотился. Сдал, согнувшись ходит, и глаза как зимняя вода. В прошлом году такой вот, крючком, а ползал, собирался... Но не заехал. Переволновался, видно, инфаркт выловил. В этом опять шмотки перетрясал, на заборе развешивал. Заходил несколько раз, по мелочам спрашивал, но понятно было, волнуется старик, в тайгу хочет. Верка еще пошутила: куда ты, мол, Иван Трофимыч, околеешь где-нибудь. Лучше уж у дочки под боком, все поухаживает... Дед невнимательно ее слушал. Видно было, что он сам об этом думал и ему неохота на эту тему разговаривать, но вдруг поднял голову на Генку, крючковатыми пальцами дотянулся до сигареты, дымящейся в Генкином рту, фильтр оторвал и бросил к печке. Ему после инфаркта строго-настрого запрещено было курить.

— Это, Верка, ничего было бы... — Дед затянулся с удовольствием. — Мне бы добраться туда. А околеть

там — это ничего. Лучше, чем тут поленом лежать. — Он замолчал, потом глянул на Генку блеснувшим глазом: — А может, я там выздоровлю? А, Генк? Ты же знаешь! Там болеть некогда!

И опять замолчал, осторожно попыхивая сигаретой.

— В зимовье только неохота помереть. Человек, когда слабеет, всегда под крышу лезет. Придут, а там я... — равнодушное стариковское лицо чуть сморщилось. — Херово так-то, если... А в тайге ничего — волки найдут, птицы растащат по участку... Это ничего. Мой же участок. Я там все знаю.

Через три часа впереди зашумел ключ Нимат. Генка поднялся до дерева, которое когда-то сам свалил через ручей. Это было самое фартовое место на всем участке. Всего три капкана ставил по ключу, а меньше, чем пять соболей, не ловилось, бывало и шестнадцать за сезон. Генка вытер пот, зашел в воду, дотянулся до капкана, висящего на тросике, и стал его разрабатывать. Он любил так ставить — ронял лесину через незамерзающий ручей, стесывал сучья, чтобы зверьку была тропа. Капкан ставил в середину, с двух сторон от него приманка. Зверек, попавшись, повисал на тросике над водой. Генка достал из рюкзака полиэтиленовый кулек, в котором несколько дней уже квасились рябчики, порубленные пополам. Запах был такой, что даже Чингиз отвернулся и отошел в сторону. Насторожил капкан и сел перекурить.

Ключ впадал в Юхту небольшим гáдыком*, густо с обеих сторон заросшим ольхой и тальниками. Отнерестившаяся рыба лежала на дне, припорошенная

* Гáдык — лесная протока, часто место нереста лососей, где они гибнут, разлагаются и гадко пахнут.

илом, вдоль другого берега совсем недавно, может, и ночью, наследил мишка. Доставал, видно, аргыз. Не будет он его сейчас жрать, подумал Генка, — ореха полно в стланиках. Он поднял сапоги, перебрел илистый гадык и рассмотрел следы. Медведь был крупный и рыбу действительно не ел, только любопытствовал. Генка докурил сигарету, бросил бычок в воду и задумчиво посмотрел на небо, а потом в тайгу, куда ушел медведь.

В то самое время, когда Генка вытягивал невод, полный рыбы, да шурился на мягкое осеннее солнце, начальник районной милиции подполковник Александр Михайлович Тихий ехал берегом моря на уазике со своим замом майором Гнидюком. И поглядывал на то же самое солнце. Александр Михайлович был высокий и толстый мужчина с небольшой уже одышкой, с красноватыми, в синюю прожилочку, щеками. И чуть строгими, чуть хитрыми, но в целом спокойными глазами человека, который цену себе знает и почти не беспокоится по этому поводу. Большие, крепкие руки легко держали тонкий обод руля и уверенно втыкали передачи.

Начальник милиции был человек незлой, вопросы решал не как положено, а по-свойски, то есть много чего мог простить, и в поселке к нему относились неплохо. Не он, впрочем, это придумал, оно в районе как-то само собой так испокон века и было, он же, за что, собственно, его и уважали, никаких новых порядков в своем большом хозяйстве не заводил и был до известных пределов простой. Мог по случаю и стакан опрокинуть с работягами и занюхать корочкой хлеба, а мог какому-нибудь наглomu бичу за дело и оплеуху закатить... чем сажать-то. Он был не семи пядей во лбу и не сильно жадным, а это неплохое сочетание для начальника.

Вот и сейчас Александр Михалыч мурлыкал что-то себе под нос, не обращая внимания на Гнидюка.

Настроение у него было хорошее, а может, даже и очень хорошее, и он слегка волновался. И даже немного побаивался одному ему известной вещи.

Его переводили на материк замом начальника УВД в небольшую южную область, вопрос, в какую именно, пока не был решен окончательно. Такая вот штука. Это было повышение, с еще одной звездочкой, полковник — это почти генерал, но главное — ответственности сильно меньше. Он пребывал в том легком, вольном состоянии, когда местные застарелые вопросы, вообще все происходящее вокруг волнует уже не так сильно и мысли летят куда-то в новые приятные дали, но сердце грустно сжималось по привычной поселковой жизни. Нравилась ему эта вольница, которой он как ни верти, а был хозяин.

Позавчера только проводил комиссию из Москвы. Все прошло неплохо, на водопад слетали, с вертолета медведей погоняли из калашей, а попили так, что Тихий сам потом полдня отлеживался — чуть живые мужики поехали и, кажется, довольные. Девки только пересолили в конце, вразнос пошли, ну это ладно, бывает, успокаивал себя Александр Михалыч и даже отчасти рад был — общие с начальством мужские грешки чаще всего на руку бывают. Приехали незнакомые совсем, а уезжали как свои парни. Телефоны, дружба, помощь в главке, туда-сюда...

Но волновался начальник милиции не по этому поводу. В свои пятьдесят два Тихий все ходил в холостяках. И теперь, понимая, что из поселка придется уезжать, рулил на прииск забирать Машу. Уже три года они были вместе, и Тихий почти постоянно у нее ночевал, но не женился почему-то. Разговаривали, конечно, шуточками.

Вчера Александр Михалыч маялся до обеда в полупустой своей казенной квартире, капустный рассол пил и все думал. И на легкую на подвиги похмельную голову решил ехать за ней. И все! Рубашку белую достал, утюг включил, ждал, пока нагреется, и воображал, что совсем не худо было бы, если бы она — молодая и красивая — была сейчас рядом. Рубашку бы ему гладила, а он смотрел бы на нее. И ему было бы приятно. На шестнадцать лет Маша моложе. Это Александру Михалычу нравилось, и это же малость смущало.

От легкости настроения даже Гнидюка с собой взял. Тот, недавно присланный из области, навязывался в попутчики: на его место метил и наверняка хотел выяснить, что к чему. Но, скорее всего, напрасно суетился. Место Александра Михайловича Тихого было предложено, а может, уже и продано где-то там в центре, в главке. Тихий знал это точно, место надо было освобождать, поэтому и его собственный перевод на материк обходился ему в копейки. Эти жирненькие, веселые и наглые парни из комиссии на самом деле прилетали прикинуть размеры бизнеса. Возможно, один из них уже и отдал денег за его место.

Так теперь обстояли дела.

Дорога от моря повернула к сопкам и тянулась открытой тундрой с невысокими кустарниками. Озерки поблескивали на солнце, болотца рыжели и краснели мхами. Вскоре машина начала подниматься склоном сопки, негусто поросшим кривоватой лиственницей. Ветры с моря калечили деревца, изгибали, корежили в замысловатые корявые формы. Александр Михалыч всегда об этом думал: кому, мол, это надо, чтобы такая вот листвяшка, рожденная стройной, превратилась в хвостатого гада с двумя головами...

Потом мысли его перескакивали на приятное, на Машу — он даже купил ей кольцо с прозрачным камешком, специально заказывал в городе. Коробочка чувствовалась острыми уголками в кармане кителя. Тихий улыбался довольно и посмеивался сам на себя — он никогда ничего такого ей не дарил. Да и вообще не дарил, как-то даже не думал об этом. Он жмурился весело, неожиданно делал губами громкое «ру-ру-ру», так что Гнидюк терялся, не знал, как реагировать, и только вертел большим и мягким носом. Толстая двойная морщина-складка продолжала нос через лоб до самых корней волос. Из-за этой необычной морщины нос получался двойной длины и выглядел настоящим шнобелем, довесками к которому прилагались два глуповато-бессовестных глаза и пухлые губы бабочкой. Александр Михалыч повернул на себя зеркало заднего вида — у него все было нормально: борозды морщин ломали лоб как надо.

Машина поднималась все выше, тундра и море открывались во все стороны. Было солнечно, море огромно синело до горизонта и казалось теплым.

Не хотелось уезжать из этих мест, будь его воля, не поехал бы, даже в отставку подписался бы по здоровью. Но... в последние два-три года — черт его знает, как и вышло-то, Семихватский всё со своими барыгами, — Тихий поднял прилично денег. Рыбный бизнес в районе пошел, то там, то сям нужна была его поддержка... Он, правда, и знать про нее особо не знал и сам никуда не лез, всем рулил зам по оперативной работе капитан Семихватский. Васька. Вертелся и крышевал коммерсантов, давил непокорных.

Тихий посмотрел на Гнидюка. Тот немедленно улыбнулся в ответ, так неприкрыто льстиво, что неприятно